

БИБЛИОТЕКА ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ



АНТОН ЧЕХОВ

Рассказы. Повести. Пьесы



Антон Павлович Чехов

Тссс!.. (Рассказы)

**Антон Павлович Чехов
Тссс!..**

Иван Егорович Краснухин, газетный сотрудник средней руки, возвращается домой поздно ночью нахмуренный, серьезный и как-то особенно сосредоточенный. Вид у него такой, точно он ждет обыска или замышляет самоубийство. Пошагав по своей комнате, он останавливается, взъерошивает волосы и говорит тоном Лаэрта, собирающегося мстить за свою сестру:

– Разбит, утомлен душой, на сердце гнетущая тоска, а ты изволь садиться и писать! И это называется жизнью?! Отчего еще никто не описал того мучительного разлада, который происходит в писателе, когда он грустен, но должен смешить толпу, или когда весел, а должен по заказу лить слезы? Я должен быть игрив, равнодушно-холоден, остроумен, но представьте, что меня гнетет тоска или, положим, я болен, у меня умирает ребенок, родит жена!

Говорит он это, потрясая кулаком и вращая глазами... Потом он идет в спальню и будит жену.

– Надя, – говорит он, – я сажусь писать... Пожалуйста, чтобы мне никто не мешал.

Нельзя писать, если режут дети, храпят кухарки... Распорядись также, чтобы был чай и... бифштекс, что ли... Ты знаешь, я без чая не могу писать... Чай – это единственное, что подкрепляет меня в работе.

Вернувшись к себе в комнату, он снимает сюртук, жилетку и сапоги. Разоблачается он медленно, затем, придав своему лицу выражение оскорбленной невинности, садится за письменный стол.

На столе ничего случайного, будничного, но всё, каждая самонаименьшая безделушка, носит на себе характер обдуманности и строгой программы. Бюстики и карточки великих писателей, куча черновых рукописей, том Белинского с загнутой страницей, затылочная кость вместо пепельницы, газетный лист, сложенный небрежно, но так, чтобы видно было место, очерченное синим карандашом, с крупной надписью на полях: «Подло!» Тут же с десяток свежечиненных карандашей и ручек с новыми перьями, очевидно положенных для того, чтобы внешние причины и случайности, вроде порчи пера, не могли прерывать ни на секунду свободного, творческого

полета...

Краснухин откидывается на спинку кресла и, закрыв глаза, погружается в обдумывание темы. Ему слышно, как жена шлепает туфлями и колет лучину для самовара. Она еще не совсем проснулась, это видно из того, что самоварная крышка и нож то и дело валяются из рук. Скоро доносится шипение самовара и поджариваемого мяса. Жена не перестает колоть лучину и стучать около печки заслонками, вьюшками и дверцами. Вдруг Краснухин вздрагивает, открывает испуганно глаза и начинает нюхать воздух.

– Боже мой, угар! – стонет он, страдальчески морща лицо. – Угар! Эта несносная женщина задалась целью отравить меня! Ну, скажите же, бога ради, могу ли я писать при такой обстановке?

Он бежит в кухню и раздражается там драматическим воплем. Когда, немного погодя, жена, осторожно ступая на цыпочках, приносит ему стакан чаю, он по-прежнему сидит в кресле, с закрытыми глазами, и погружен в свою тему. Он не шевелится, слегка барабанит по лбу двумя пальцами и делает вид, что

не слышит присутствия жены... На лице его по-прежнему выражение оскорбленной невинности.

Как девочка, которой подарили дорогой веер, он, прежде чем написать заглавие, долго кокетничает перед самим собой, рисуется, ломается... Он сжимает себе виски, то корчится и поджимает под кресло ноги, точно от боли, то томно жмурится, как кот на диване... Наконец, не без колебания, протягивает он к чернильнице руку и с таким выражением, как будто подписывает смертный приговор, делает заглавие...

– Мама, дай воды! – слышит он голос сына.

– Тссс! – говорит мать. – Папа пишет! Тссс...

Папа пишет быстро-быстро, без помарок и остановок, едва успевая перелистывать страницы. Бюсты и портреты знаменитых писателей глядят на его быстро бегающее перо, не шевелятся и, кажется, думают: «Эка, брат, как ты насобачился!»

– Тссс! – скрипит перо.

– Тссс! – издают писатели, когда вздрагивают вместе со столом от толчка коленом.

Вдруг Краснухин выпрямляется, кладет пе-

ро и прислушивается... Он слышит ровный, монотонный шёпот... Это в соседней комнате жилец, Фома Николаевич, молится богу.

– Послушайте! – кричит Краснухин. – Не угодно ли вам потише молиться? Вы мешаете мне писать!

– Виноват-с... – робко отвечает Фома Николаевич.

– Тссс!

Исписав пять страничек, Краснухин потягивается и глядит на часы.

– Боже, уже три часа! – стонет он. – Люди спят, а я... один я должен работать!

Разбитый, утомленный, склонив голову набок, он идет в спальню, будит жену и говорит томным голосом:

– Надя, дай мне еще чаю! Я... ослабел!

Пишет он до четырех часов и охотно писал бы до шести, если бы не иссякла тема. Кокетничанье и ломанье перед самим собой, перед неодушевленными предметами, вдали от нескромного, наблюдающего ока, деспотизм и тирания над маленьким муравейником, брошенным судьбою под его власть, составляют соль и мед его существования. И как этот

деспот здесь, дома, не похож на того маленького, приниженного, бессловесного, бездарного человечка, которого мы привыкли видеть в редакциях!

– Я так утомлен, что едва ли усну... – говорит он, ложась спать. – Наша работа, эта проклятая, неблагодарная, каторжная работа, утомляет не так тело, как душу... Мне бы бромистого калия принять... Ох, видит бог, если б не семья, бросил бы я эту работу... Писать по заказу! Это ужасно!

Спит он до двенадцати или до часу дня, спит крепко и здорово... Ах, как бы еще он спал, какие бы видел сны, как бы развернулся, если бы стал известным писателем, редактором или хотя бы издателем!

– Он всю ночь писал! – шепчет жена, делая испуганное лицо. – Тссс!

Никто не смеет ни говорить, ни ходить, ни стучать. Его сон – святыня, за оскорбление которой дорого поплатится виновный!

– Тссс! – носится по квартире. – Тссс!